

Алла Боссарт

Свободный стиль

Бабка моя служила стенографисткой,
носила жакет с плечами.
В ней был стиль. Ее обошли партийные чистки
и некоторые другие печали.
Сама она была из калужских рабочих
с их отличной фамилией Львовы.
А дед происхождением был не очень,
незаконный сын провизора из Могилева
и дурочки какой-то, прислуги. Та уж мылила ремешок.
Ребеночка хозяева-немцы взяли в семью,
покрыли, как говорится, грешок.
И стал он немцем, вместе со всеми.
Назвали Петер. Петр Иваныч,
приемный батюшка был Иоганном.
Для родной мамыши, выходит, паныч.
Барчук, выходит. Приймак немчуры поганой.
Когда живые мертвых простили
и прошлое заперли, как столовое серебро,
дед увидел бабку с ее знаменитым стилем,
в круглой шляпке, сдвинутой на левую бровь.
И вот, презирая интриги завистниц и гадин,
с мужем, которого называла почему-то Володя,
Верочка Львова, из рабочих, уехала в Копенгаген,
где торгпредские жены шептались о стиле и о породе.
Бобочка, мой папа, родился с немецким в печенках.

Прекрасные старики еще были живы.
И та курва вдруг вспомнила про байстрючонка
и стукнула, что сын ей алименты зажил.
В Караганде прочно осела кузина.
Сестра-красавица целовала лагерный почерк.
Вот и Пете пригодилась допровская корзина.
Верочка не роптала, хотя и была из рабочих.
Пушкинские Горы — это под Псковом.
Никакие не горы — холмы и дачи.
Там Бобочке в голень попал осколок,
и война закончилась для него удачно.
Женщины нашей семьи дождались мужчин
из госпиталей и тюрем. И молчали, когда болит.
И это было одной из причин
моего явления — а вовсе не в результате молитв.
Женщины нашей семьи, даже рожденные под Калугой,
были образцом стиля, что важнее породы, а часто и воспитания.
Меня учили, что хороший стиль — не спорить с прислугой
и молча переносить испытания.

Возвращение в И.

Зачем я бежала из этого города, слепая от слез,
куда глаза, сломя голову, загнав трех ослов,
в провинции, далёко от моря, дура, свила гнездо,
ждала, что добро, наконец, поборет одинокое зло,
но что бык добра на этой арене против убойных бригад?
Как против Вронского — старик Каренин (не старик, но тоже рогат)...
Итак, Итака (город). Жгучие мифы слева в прохладной груди,
словно ангел, выходит из миквы, белее ста афродит,
в тысячах уличных капилляров тягучий ветхозаветный азарт,
вечная солнечная соляра кипит и тащит его назад,
я же, на мелководье иссохнув, вдали от белого с голубым,
сном изорванная кессонным, пробкой вылетев из глубин,
бреду, не разбирая дороги, но кажется, что вперед,
хотя в этом состоянии грогги мой компас, конечно, врет,
эй, мне — туда, где лев с золоченой холкой обходит рыночные ряды,
на шее у него — маки, в паху — наколка в виде синей звезды,
там время — материальное тело, плотное, как столетний «шираз»...
Простите меня, но я бы хотела попробовать еще раз.

* * *

Чего мы искали, Улисс, для чего мы расстались с Итакой,
где воздух гудит от кузнечиков в мокрой траве и цикад,
где белое яблоко, треснув, хрустит и сочится цитатой,
каких нам еще не хватало, Улисс, драгоценных цитат?

Сто лет я иду за тобой, уж такая мне выпала карма.
Забыла давно, где мой дом, женихи и тот вечный кусок
полотна... Между тем, скоро время разбрасывать камни,
но кругом, как в песочных часах — лишь песок. Лишь песок.
Лишь песок.

* * *

Я расскажу вам, как умирают собаки.
Они прячутся там, где не слышно шагов, свиста и речи,
на пустыре, в лопухах, где помойные баки,
закрывают глаза и уши, чтоб ничто не мешало готовиться к встрече.
Собачий бог — вылитый хозяин, но светлее и чище,
от него не пахнет табаком и водкой,
исключительно колбасой и другою небесной пищей,
и весенней землей, и песком, и перевернутой лодкой,
что сохнет на берегу среди водорослей и потрохов.
И пес, закрыв глаза, ждет и молится, как умеет,
прости меня Бог, за то, что нет у меня толковых грехов,
и мне даже покаяться не в чем, а лапы немеют,
и пусть мой самый любимый на этой земле двуногий
не очень страдает, пошли ему, Бог, второго,
а потом еще многих и многих.
А я устал. Где твоя лунная, как сало, дорога?
И он уходит по этой дороге, жемчужной, как окорок.
А ты находишь его наутро, твердого, будто полешко,
и закапываешь под кленом или где-нибудь около...
Может, так оно и полегше.
Но мой ангел умер у меня на руках,
и наутро я выпила как воду бутылку виски и еще коньяка
и почти умерла. Но он прислал замену —
ушастого, теплого, с глазами без зрачков, как черешни.
И я все боялась — а вдруг это измена?
Но мои вдовы друзья женятся, и ничего, и безгрешны.

* * *

Нас берегли. Мы знали — смерти нет.
Слыхали — кто-то умер от удара,
как старый граф Ростов, но он же — старый,
над Петей плакали, но то ведь — на войне.
Война же кончилась. Теперь всегда — рассвет,
весна, оркестры, яблони, пуанты,
вернулись молодые лейтенанты,
не плачь, мой чижик, смерти больше нет.
Летели дни — салютные огни,
и, в то же время, длинные, как реки...
Конечно, жили во дворе калеки —
наш дворник Гриша без одной ноги;
одутловат, как следует слепцу,
заколки Толик мастерил в своей артели...
А дни, счастливые, как бабочки, летели,
неся бессмертья желтую пыльцу.
Идея бесконечности близка
любой козявке на пороге жизни,
и всяк себе казался семижильным,
спросонья насосавшись молока.
Как пробу секса, ты запоминал
день первых похорон... Игрок, гуляка —
дед открывал отсчет. Братишка плакал,
и тоже ничего не понимал.
А я следила, как сгущалась мгла,
прозрачный воздух замутивши кратко,
как будто дедушкина катаракта
отдельно от него не умерла.
С годами смерть мне сделалась родня —
пошарит в холодильнике, закурит,
по корешкам пройдет: «Ишь, в натуре,
гляди-ка, сколько пишут про меня...»
Она теперь хозяйка, я — жилец,
хожу по стенке, сплю несмело с краю
и помню, что от жизни — умирают,
как написал веселый Ежи Лец.
Слежу за неприметной струйкой дней
в окошко баньки, сука, с пауками,
сiju там и читаю Мураками...
но точно знаю: Гоголь поглавней.

* * *

Просыпаюсь я поздно,
полдень лупит в солнечное сплетение,
трудовой Израиль, как ты его называешь,
уже обедает и начинает сиесту,
а она длится четыре часа,
четыре жарких и сонных часа,
когда молчат даже птицы.
И пес мой, потеряв надежду
на активный отдых среди выжженных трав,
валится на бок, на бочок
и прикрывает глаза.
Но при этом зорко следит
за моими передвижениями,
за моим плаванием в тенистом аквариуме,
в спасительной тени наших комнат,
куда не проникает злое солнце.
И стоит мне подойти к дверям,
он кубарем скатывается с кровати
и бросается мне в ноги,
ибо мой дрейф к дверям
может означать замысел прогулки
и означает его.
Да, день перевалился за черту,
которая отделяет его от ночи,
как переваливается неуклюжий мальчик
через невысокий парапет
между набережной и пляжем.
За чертой — длинные тени,
они расплываются по солнечным лужайкам
широкими серыми пятнами,
как красное вино по белой скатерти
в черно-белом кино.
Так к вечеру расплывается по нашему дому
твое отсутствие.

Алла Боссарт, поэт, прозаик. Стихи печатались в журналах и альманахах «Арион», «Новая юность», «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), «Иерусалимский журнал», «Шо» (Киев), вошли в сборник «Лучшие стихи года» (2012). Также изданы два стихотворных сборника.